

ФЕВРАЛЬ—АПРЕЛЬ

1

И не успеешь сдохнуть, слышишь снова:
уже трубят весну, срывая сроки.
Уже опара поднялась и прёт,
прервав февраль на середине слова.
Пекут блины. И масленица с горки
въезжает на московский серый лёд.

Час пересменки. Прерыванье круга.
И жизнь со смертью смотрятся друг в друга
как в воду, и граница не ясна.
Так снег с асфальта одеялом ветхим —
как саван. Как сползающий под веком
в глазу ещё не смытый снимок сна.

И колесо замрёт на повороте,
чужая память прорастает в клетке,
и древний ужас ломится сквозь швы —
когда, кружась в старинном хороводе,
они под ней подкладывают ветки,
и всё горит. Но крики не слышны.

Март у двери. И поздно удавиться.
И все дела, и некуда деваться.
Ещё ползёшь на этом голом льду,
а каждая прохожая девица
бесплатно начинает раздеваться,
пальто распахивая на ходу.

А в небесах кружит старик Степанов¹,
и снег счернел в разохшемся сугробе;
как быстро жизнь сыпается в трубу!
В канун Восьмого весь вагон в тюльпанах —
как будто тонет в сахарном сиропе,
и Роза с Кларой вертятся в гробу.

И сердце наше хочет петь о главном
и носится с беспомощным куплетом;
так оттепель игрива и грязна! —
когда вприпрыжку по собачьим говнам
ты сам спешишь с задрипанным букетом.
Ах, эта пошлость: к нам пришла весна.

Есть тайная печаль в апреле раннем,
когда простор лежит без покрывала
на необжитой выжженной весне —
и голая земля открытой раной,
и небо сквозь прозрачные провалы,
и пустота на сердце и везде.

¹известный дворник

Есть тайный отпечаток бывшей казни,
как бы постскрипtum той дремучей тризны
рассыпавшимся пеплом меж полей;
какой-то гул, какой-то плач бессвязный —
о Масленице. Или всякой жизни —
как таковой. Какой-то. Как твоей.

Как будто что-то говорит про тайный
скрип колеса: как снег сползает с ветки,
как часовая стрелка сыпет век,
как сон-трава выходит из проталин,
и смерть растёт и зреет в каждой клетке,
и лес растёт из умеревших век.

С НАТУРЫ

Опускающееся солнце сигналил издали сквозь дырки в заборе.
С крон сползает неслышное зарево. Дачный день
кончается как долгий выдох.

На земле
рябина, подрубленная грозой —
с утра пришлось распилить. В куче торчат
живые гибкие ветки с горькими ягодами —
грозди играют в лучах заката;
ждут костра.

«Я посылала к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату. Неужели я тебя задела тем, что посылала к тебе? А тебе, я вижу, не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под людских глаз и примчался. Буде даже я тебя по своему неразумию задела, если ты начнёшь надо мной насмехаться, то судит тебя Бог и моя худость».

Цит. по: А. Зализняк «Новгородская Русь по берестяным грамотам: взгляд из 2012 г.»

«Я к тебе посылала трижды в эту неделю...»
Что нам понять сегодня об ихнем деле?
Какие там были за страсти, за охи-вздохи —
в темные времена при царе Горохе?
Вот вам клочок бересты как итог эпохи.

Что остаётся от этих башен, от капищ, рынков,
кроме двух-трёх черепков и таких обрывков?
Письмо обрастало глиной, землёй, золою,
и адресат утерян в подзольном слое.
А недели сплелись в века и в песок просели,
но, к кому посылала — кажись, не пришёл доселе.
И археолог вздохнёт, вытирая сопли —
что же поделывать, ежели все усопли?

Видишь ли: на перфокарте ли, бересте ли,
или мобиле — сигнал достигает цели,
как правило, слишком поздно. И нам не собрать из пыли
губы, глаза ли, лица, что здесь вот были —
и тех, кого они звали, кляли, любили.

То есть, по большей части, всем достаётся это месиво под ногами. И точно эхо хрустит на подошвах — грязью, различной почвой; в сущности, просто недонесённой почтой. И в чернозёмах, глинах, полезных рудах, клинописных табличках, разных дурацких рунах, глухо гудят голоса, доходя из глубины (то, что теперь земля, было когда-то губы) — не разобрать язык, но поймёшь идею: я к тебе посылала трижды в эту неделю.

Так следом веков на скалах белеет роспись. Так свет от настольных ламп улетает в космос, чтобы остаться там, как Земля остынет, и в бесконечной тьме бороздить пустыни; и в сумме сигналов, что в этих местах издали, астроном подберёт потом из туманной дали, сидя на Тау-Ките ли, другой звезде ли, сжатый итог всего, что мы здесь пи..ели: я к тебе посылала трижды в эту неделю.

Потому что и там, на ихней Альфа-Центавре, тоже пишут записки, ждут на углу с цветами — или что-то в таком же духе. И также в тоске, в разлуке там воздевают к небу щупальца или руки и издают по сути всё те же звуки — адресуя подруге, другу, богам, судьбе ли — может быть, нам на далёком небе, в его пределе: я к тебе посылала трижды в эту неделю.

Потому что и тот гуманоид братский у телескопа,
и археолог грядущий в грязи раскопа,
что застучит киркою по нам ушедшим —
в сущности, все мы вместе. Поскольку шепчем,
в общем, одно и то же. И это довод,
что мы едины. Мы в некотором роде провод.
И сигнал переходит от сердца к сердцу, от века к веку —
может быть, от звезды к звезде. И всегда ответу
не дойти — от тебя ко мне ли, меня к тебе ли;
сколько веков глаза в темноту глядели!
Я к тебе посылала трижды в эту неделю.